Б
К 30
Агитпункт ст. Самара 382
2278 ч/80
T2496
P6
21
1920

К. КАУТСКИЙ

К ЮБИЛЕЮ ШИЛЛЕРА

Ф. МЕРИНГ

ШИЛЛЕР и ВЕЛИКИЕ СОЦИАЛИСТЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТЕРБУРГ :: 1920

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

Проспект 25 окт., д. 28.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

	Р.	К.
Ад-янц. Крестьянский вопрос во Франции	—	55
Алексеев и Варлен. Две речи.	—	70
Арну А. Мертвецы Коммуны	—	45
Афиногенов, Н. (Степной). Записки ополченца	1	25
Бакс. Парижская Коммуна	1	75
Барбюс, А. В огне. Дневник одного взвода. С предисловием М. Горького	30	—
Басов-Верхоянцев. Венок. Сказки	5	—
Бебель, А. Из моей жизни. Мемуары, т. I.	7	50
Богданов, А. Красная звезда	5	20
Браке. Долой социал-демократов	1	—
Бухарин. Долой международных разбойников	—	40
„ Программа коммунистов	1	75
Быстрянский. Империализм.	—	35
Вандервельде. Социализм и искусство	—	90
Ватин. Что такое коммуна?	—	20
Вейтлинг. Человечество, каково оно есть и каким должно быть	—	85
Венок коммунаров. Сборн. памяти В. Володарского, с рисунками.	4	—
В-ик, Л. Уголок немецкой оккупации.	—	50
Володарский, В. Напутственная речь агитаторам	—	50
Враги ли евреи рабочим и крестьянам	—	65
Войнич, В. Овод. Роман. Пер. с английского З. Венгеровой.	4	50
Гауптман. Ткачи. Драма.	3	—
Горичев. Таблица исчисления заработной платы от 150 до 1000 р.	5	—
Горлов. Темные силы, война и погромы	—	40
Горький, М. Макар Чудра	1	—
Декав. Фленго. Рассказ из времен Коммуны 71 г.	—	25
Декреты о суде	1	50
Евреи, классовая война и погромы	—	40
Кореф. Мир и пролетариат	—	45
Закон о лесах Российской Фед. Сов. Республики.	—	30
Зиновьев, Г. Корни оборончества	1	10
„ Наше положение и задачи создания красной армии	—	25
„ Австрия и война.	1	80
„ Из истории пролетарского праздника 1 мая	—	30
„ Г. В. Плеханов. Вместо речи на могиле.	—	45
„ Хлеб, мир и партии	—	70
„ Рабочая партия и профессиональные союзы	2	25
„ Речь о создании красной армии (2-е издание)	—	25
„ Социализм и война	1	10
„ Н. Ленин. Очерк жизни и деятельности.	2	—
„ Письмо к крестьянам	—	50
„ Слово к красноармейцам.	—	40
Чехо-словаки и рабочий класс.	—	35
„ и **Троцкий, Л.** О мятеже левых эс-эров	—	60

809(49) 22784/80 Кобп
PT2496
.P6
K21
1920

К. Каутский

К столетнему юбилею Шиллера

K STOLETNEMU IUBILEIU SHILLERA

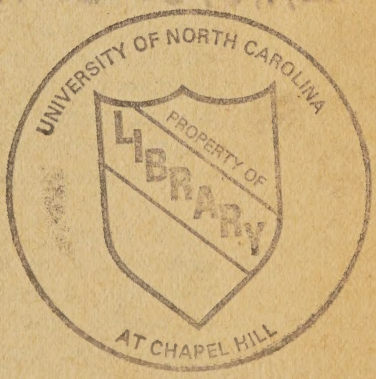
Ф. Меринг

Шиллер и великие социалисты

SHILLER I VELIKIE SOTSIALISTY

КНИГИ НАРОДУ
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
PROPERTY OF
LIBRARY
AT CHAPEL HILL



ИЗДАНИЕ
ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ и КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТРОГРАД, 1919

Артистич. заведение Т-ва А. Ф. Маркс, Петроград, Измайл. пр., № 29.

Мятежное в драмах Шиллера

I

Драмы Шиллера до революции

Девятого мая этого года все классы и партии Германии, исключая пары неисправимых фанатиков, будут единодушно и восторженно чествовать память Шиллера. В этом чествовании несомненно много поддельного, много лицемерия; энтузиазм, который немецкая буржуазия проявляет в столетнюю годовщину смерти Шиллера, гораздо более искусствен, чем тот энтузиазм, с которым она праздновала столетний день его рождения. В 1859 году она достигла апогея своего политического подъема; тогда она верила в близкое наступление торжества тех идеалов, самым красноречивым провозвестником которых она считала Шиллера. С тех пор она отбросила один за другим, как ненужный балласт, все эти идеалы и сделалась сторонницей „реальной политики", той политики, которая заботится только о завтрашнем дне и уже отмахивается от вопроса о послезавтрашнем дне, как от неудобного и ненужного вопроса; как раз подходящая политика для того класса, который уже растерял свои великие цели и перестал верить в свою будущность.

Великие и гордые цели, которые ставила себе буржуазия в дни своего политического подъема, превратились для нее в голые бессмысленно повторяемые фразы: так, религия у многих „христиан" превратилась в голую фразу; они себя считают выше религии, но находят нужным оставить ее для народа, которого вернее можно будет обуздать с ее помощью.

„Просвещенный" „современный" буржуа причисляет теперь Шиллера к национальным святым, в которых он сам уже больше не верит, но продолжает по привычке им поклоняться не без надежды, что они принесут пользу детям и народу, которые будут в них чер-

пать веру в нравственный миропорядок и юношескую свежесть ходячих фраз либерализма.

Но чем ближе подходишь, обозревая общественные классы Германии, к мыслящему и борющемуся пролетариату, тем правдивее, тем живее становится воодушевление на шиллеровском празднестве. Несомненно, нет ни одного немецкого драматурга, который стал бы таким народным, как Шиллер. Но этим он прежде всего обязан мятежному содержанию многих его драм, которое так прекрасно гармонирует с мятежными наклонностями трудящихся классов. Мы говорим о их *мятежном*, а не *революционном* содержании. Без сомнения, Шиллер был также и революционером. И его идеалами были те идеалы, которые выдвинула в противоположность предшествовавшему порядку расцветающая буржуазия. Но не это является отличительной особенностью Шиллера. Между всеми другими немецкими драматургами он выделяется с *политической* стороны,—а мы здесь занимаемся только ею, а не *эстетической* стороной его драм,—тем, что он интересуется мятежом, восстанием против наследственной власти. Он постоянно возвращается к этой теме, которую он варьирует на разные лады.

В план моей статьи не входит исследование *причин* этого интереса к мятежу и изложение хода его развития. Это неизбежно превратилось бы в *материалистическое объяснение* всего драматического творчества Шиллера,—задача, выполнение которой я охотно оставляю более компетентному перу, так же, как и *эстетическую оценку* творений Шиллера *).

Здесь я намерен только рассмотреть те формы, которые мятеж принимает в отдельных драмах Шиллера, и вывести потом некоторые заключения о его революционном своеобразии. Одного вопроса, однако, я коснусь раньше, чем перейти к предмету этой статьи,—а именно вопроса о том, не находится ли драматический гений Шиллера в связи с его революционным темпераментом. Драма и революция родственны друг другу, поскольку обе представляют собою катастрофы, которые подготовляются незаметно, но непреодолимо, а потом внезапно обрушиваются. Чем больше у поэта развиты чувствование и понимание катастрофы, тем лучше ему удается драматическая форма, тем сильнее будет действие его драм, если только его дарование помимо этой особенности не уступает дарованию другого драматурга.

Но не только эмоциональные переживания самого поэта, а также настроение того времени, в которое живет поэт, должно оказать свое влияние на его творчество. Это влияние отражается не только на

---

*) Статья эта была написана раньше, чем я имел возможность читать мастерски написанное сочинение Меринга о Шиллере.

содержании, но и на форме его произведений; оно отражается также и на действии, которое оказывает эта форма.

В моей брошюре о социальной революции я обратил внимание на тот факт, что теория катастроф господствовала в естествознании до тех пор, пока буржуазия была революционна, и что она была заменена теорией незаметного развития с тех пор, как буржуазия повернула на путь консерватизма. Эта связь между естественнонаучными теориями и политическими течениями не покажется неожиданностью тому, кто знает, что общественные потребности и чувствования влияют не только на общественные, но и на естественнонаучные теории, на картину мира в его целом. Научная деятельность ведь ничего иного и не означает, как приведение в порядок всего многообразия явлений и отделение существенного от несущественного. Род и количество явлений, которые в данный момент являются предметом научной обработки, зависят, главным образом, от данной высоты техники. Они одинаковы для всех членов данного общества. Но в зависимости от направления находящихся под влиянием общественных отношений чувства и мышления эти факты различными индивидуумами различно оцениваются, и от этой различной оценки и проистекают, главным образом, разногласия различных научных направлений внутри одного и того же общества. Всем даны одни и те же факты, но деление их на существенные и несущественные не одинаково совершается у всех классов и людей.

Подобно науке, и искусство также неизбежно подвергается влиянию социальных настроений и социальных потребностей. Поскольку дело идет о *содержании* искусства, это само собой разумеется, но это так же верно и относительно его *формы*.

Не случайность то обстоятельство, что тот род искусства, который большей частью изображает нарастание катастрофы, достиг высшей точки своего расцвета в эпоху революций; это, правда, верно только по отношению к Германии, которая переживала великую буржуазную революцию только в философском и художественном отражении, но не по отношению к Англии и Франции, которые совершили эту революцию и вложили весь запас своих умственных сил в политику и военное дело, оставив очень мало на долю искусства и философии.

И не случайность также то обстоятельство, что сила и глубина драматического творчества все больше и больше падает в Германии по мере того, как ее буржуазия становится все консервативнее, что драма вместе с тем меняет свой характер. Элемент катастрофы из нее все более и более изгоняется. Драма, чем дальше, тем больше перестает быть изображением *действия*, завязки и развязки,—а становится изображением неизменяющегося душевного *состояния*; вместо сильной борьбы нам показывают усталую покорность, скорбный пессимизм или циничное издевательство. и все они варьируют

одну и ту же тему: ничего не меняется. Правда, дух драмы властно требует действия, катастроф; жанровая драма никогда не будет в состоянии вытеснить драму действия, но те драмы катастроф, которые еще мимоходом пишутся, имеют своим источником не современную буржуазную мысль, а только буржуазную традицию: эта драма становится все более и более условной, в ней не чувствуется биения пульса настоящей жизни.

Не таково было то время, в которое писал Шиллер. Оно жадно искало борьбы и быстро развивающегося действия, а не пассивного настроения. Ни один поэтический гений не шел в такой степени навстречу этой потребности, как Шиллер. В этом источник могущественного действия, которое он оказывает, в этом источник его популярности. И его популярность еще жива среди пролетариата, который и в настоящее время ищет в драме борьбы и действия; спустя сто лет после его смерти, Шиллер все еще поэтому остается для пролетариата вечно юным, и он останется популярнейшим немецким драматургом, пока не появится новый гений, в творениях которого захватывающие катастрофы предстанут перед глазами зрителей, как живые.

Но драмы Шиллера увлекают все революционно настроенные натуры не только величием, захватывающим интересом их действия и мощью языка,—увлекает также и их мятежное содержание. Но это содержание свидетельствует не только об эпохе революции, в которой зародились эти драмы; оно свидетельствует также о политической отсталости и ограниченности Германии и о явившейся следствием этой отсталости политической наивности самых лучших ее умов.

Карл Мор, над которым Шиллер работал с 1777 до 1781 года, был первым изображенным им мятежником. Здесь мы еще не имеем дела с политическим мятежом, с попыткой преобразовать государство, а только с возмущением отдельного лица против законов государства, с возмущением, которое само в свою очередь не было вызвано дурными законами, а только мошеннической проделкой одного мерзавца: „мы стали убийцами, разбойниками благодаря плутовским проделкам".

Однако благородный разбойник не представляет собою чисто-фантастического олицетворения возмущения против общества и государства, он не выдуман Шиллером.

Разбойничество—это явление, неразрывно связанное с определенными общественными отношениями. Разбойник, скрывающийся в лесах, с которым нельзя сравнить вора или убийцу с целью грабежа современного большого города, является следствием разложения первобытного земельного коммунизма. Он появляется там, где этот коммунизм становится неспособным обеспечить существование всех жителей деревни, где именно крупные имения экспроприируют

крестьян, а также мелких дворян, и где, с другой стороны, еще не возникла крупная капиталистическая промышленность, которая была бы в состоянии поглотить этих экспроприированных и, вместе с тем, создать сильную централизованную государственную власть, которая могла бы подавить всякое насильственное возмущение против законов. Слабые натуры из числа экспроприированных становятся бродягами и нищими, сильные натуры ищут помощи в оружии и продаются в солдаты, если на них существует спрос. Если же этого спроса нет, они становятся разбойниками; там, где происходят политические волнения, они к ним примыкают. Еще в наше время мы видим на Балканском полуострове, как неопределенна граница, отделяющая разбойника от борца за свободу, как, смотря по тому, как сложатся обстоятельства, сегодняшний разбойник завтра становится национальным героем, чтобы послезавтра опять превратиться в разбойника. Народ его любит и уважает, как борца против его притеснителей и эксплуататоров. В сербских и болгарских народных песнях гайдуки занимают очень видное место. Мы бы очень ошиблись, если бы думали, что Шиллер впервые ввел поклонение разбойникам. Не только на Балканском полуострове, но и в южной Италии разбойник слывет благородным героем; до 60-х годов он слыл героем и в Венгрии и Ирландии. Шиллер мог найти источник для своего вдохновения в народных чувствах южной Германии, где в его время лесной разбойник был далеко не редкость. Напомним только о Шиндерганнесе и баварском разбойнике Гизеле. Шиллер восстановил честь одного вюртембергского разбойника Зонненвирта в своем прозаическом рассказе „Преступник из-за потерянной чести“, написанном в 1787 году.

В экономически-отсталой земледельческой стране, где против абсолютизма и господства феодалов не выступает ни сильная буржуазия, ни непокорная мелкая буржуазия, ни способный вести политическую борьбу промышленный пролетариат, там мятежным натурам разбойничество естественно может представляться единственно возможной формой возмущения против государства и общества.

Гораздо выше в политическом отношении, чем „Разбойники“ 21-летнего Шиллера, стоит его следующая драма, „Фиеско“, которую он сочинил на двадцать третьем году своей жизни (напечатана в 1783 году). Здесь уже дело идет не об отчаянном, не имеющем никакой определенной цели возмущении деклассированного дворянина против государственного порядка, а о хорошо обдуманном ряде действий, имеющем целью уничтожить этот порядок и поставить на его место новую государственную власть. И однако сам Шиллер в своем предисловии указывает на свое полное политическое невежество, и нет почти ни одной сцены в драме, которая бы не подтвердила этого свидетельства. Шиллер назвал драму „республиканской

трагедией". В самом деле, это—пьеса, которая должна вызвать очень трагичное настроение в каждом республиканце. Ибо где те республиканцы, которые сделали бы эту республику жизнеспособной? Народ играет в этой пьесе только роль статиста в полном смысле этого слова; он способен только на нечленораздельные восклицания и меняет свои политические воззрения—насколько о них может итти речь—в мгновение ока, после первой попавшейся демократической речи. Достаточно нескольких слов Фиеско, чтобы убедить его в пагубности демократии, в которой решает большинство, ибо „трусливых больше, чем воинственных, глупых больше, чем умных". Но не менее печально, чем демократы, выглядят аристократы генуэзской республики. Это все бессмысленные и несамостоятельные шуты, вся политика которых—в пассивном неудовольствии и весь республиканизм—в нелюбви к субординации. Единственный сильный, обладающий более обширным кругозором политик между этими республиканцами, это—на ряду с Верриной—Фиеско. Он не только *руководит* революцией, он ее целиком *совершает*, он *создает* все ее элементы; он, это—сама революция, и с ним она гибнет. В особенности наивно, что этому государственному человеку, стоящему неизмеримо выше всех других не только по своим способностям, но и по своему знанию людей и обстоятельств, Шиллер дал свой юношеский двадцатитрехлетний возраст.

Если мы видим доказательство непонимания Шиллером сущности политической революции, если даже она является только аристократическим заговором, в том, что он представляет республиканский переворот делом одного человека, то это, понятно, не значит, что мы ставили Шиллеру смешное требование руководствоваться принципами материалистического понимания истории.

Мы уж не говорим о том, что в то время, когда жил Шиллер, о таком понимании не было еще и речи, но помимо этого и именно с точки зрения материалистического понимания истории задачи драматурга совершенно иные, чем задачи историка. По традиционному взгляду они совпадают, поскольку и тот и другой имеют своей задачей изобразить необычную судьбу отдельного человека, поскольку объектом творчества обоих является выдающийся человек или необычная судьба.

Но материалистическое понимание истории видит главный элемент исторического развития в обычном, обыденном, а не в необычном, в общественных отношениях людей, а не в отдельном человеке. Чтобы понять какое-нибудь время, нужно его понять в его повседневных явлениях, именно в тех явлениях, которых современники не записывают, считая их само собою понятными; современники поэтому сообщают только о необычных явлениях. Те, которые потом обрабатывают исторические источники, знакомятся скорее с необыч-

ными, ненормальными явлениями того времени, а не с его нормальными отношениями: не удивительно поэтому, что они вначале ищут двигательную силу общественного развития в этих необычных, касающихся судеб отдельных личностей явлениях; прошло поэтому много столетий, пока познакомились до некоторой степени с повседневными массовыми движениями прежних времен, и таким образом стало возможным открыть в этих движениях подлинную движущую силу истории.

Может казаться, что современная драма намерена последовать примеру истории и, вместо того, чтобы изображать героев, приняться за изображение повседневной жизни. Это сближение, однако, только кажущееся. Что бы ни думали о задачах искусства,—а эти задачи чрезвычайно меняются в зависимости от времени и места, от общественных условий и потребностей художника и его публики,—несомненно одно: задача искусства всегда будет состоять в том, чтобы отвлечь внимание публики от обыденных явлений, дать ей возможность подняться выше этих явлений жизни. Это вытекает из самой сущности искусства, которое сводится к тому, что творит свой объект искусственно, произвольно. Обыденные явления не нуждаются в художественном творчестве: они сами себя творят. Я обращаюсь к искусству для того, чтобы освободиться от этих обыденных явлений.

И каково бы ни было отношение художника и публики к искусству, художник во всяком случае хочет действовать на публику. Действия, которые он хочет произвести, будут опять-таки совершенно различны в зависимости от меняющихся общественных отношений и от его личного темперамента; но хочет ли он нас расстроить или развлекать, вызвать похотливые представления или чувство воодушевления, хочет ли настроить нас на созерцательно-скорбный лад или вызвать в нас горячий порыв к деятельности, заставить нас радоваться прекрасному или испытывать чувство ужаса от грубого безобразия—во всяком случае, он хочет оказать известное действие. Обыденные же явления никакого действия, кроме скуки, произвести не могут—как раз того действия, которое всегда избегается, каковы бы, впрочем, ни были намерения и потребности художника и публики. Если же в настоящее время иногда кажется, будто драматическое искусство стремится представлять повседневные явления, то это частью нужно приписать как раз тому, что сцена находится в поисках за чем-то небывалым. Пока представление на сцене плоских обыденных явлений остается чем-то новым, небывалым, это может интересовать, как смелый эксперимент. Но представление повседневных явлений неизбежно наскучит нам, когда оно перестанет быть единичным экспериментом и само превратится на сцене в повседневное явление. Помимо этого, иллюзия, будто драма все более и более обращается к обыденному, вызывается еще тем, что, чем больше про-

летарское движение завладевает общественною жизнью, тем больше растет интерес драматурга и театральной публики к темам из жизни низших классов и к проявлениям их жизни, например, к их наречию, т.-е. к явлениям, которые мы встречаем на каждом шагу и которые кажутся нам поэтому обыденными.

Но поэт только тогда овладеет нашим вниманием, если он сумеет показать нам эти явления с совершенно новой стороны или при необычайных обстоятельствах.

Гауптмановские ткачи—очень обыкновенные люди с очень обыкновенными речами, однако для театральной публики их жизнь, их взгляды представляются чем-то необыкновенным. А положение, заставляющее этих голодных людей взбунтоваться,—разве это нечто обыденное? Босяки в „На дне“ потому, опять-таки, так сильно нас захватывают, что мы их совсем еще не знаем с той стороны, которую открывает в них Горький, что он дает нам возможность заглянуть в мир, который нам не менее чужд, чем внутренняя часть Африки.

Ни расцвет драмы, изображающей общественную среду, ни предпочтение, оказываемое явлениям и формам речи повседневной жизни, не имеют ничего общего с материалистическим пониманием истории, которое, может-быть, остается для всякого современного поэта книгой за семью печатями. Они связаны между собою только постольку, поскольку они все дети одной и той же ступени общественного развития.

Совсем другие условия господствовали в то время, когда жил Шиллер. Как поэт, так и публика искали тогда в драме действия, а не настроения, действия, завершающегося катастрофой, а не вопросительным знаком; они требовали, чтобы центральной фигурой драмы был герой, стоящий выше своей среды, герой-борец против своего времени, а не слабовольный человек, который только и делает, что вздыхает, погибая под гнетом окружающей его мелкой среды. То, что Фиеско представлен таким гигантом, является не недостатком, а скорее достоинством драмы. Но то, что среда, неизмеримо выше которой он стоит, политически так ничтожна, так бессильна,—это показывает, как далеко стоял Шиллер от всякого понимания политики.

Веррина—это единственный человек с республиканскими принципами среди всех республиканцев этой „республиканской трагедии“. Но и его республиканские принципы не являются следствием его доверия к республике. Мог ли он питать доверие к демократическому или хотя бы аристократическому самоуправлению при виде всех окружающих его бесхарактерных болтунов? Его республиканизм носит в высшей степени личный характер и коренятся в его ненависти ко всякой власти, пред которой он был бы вынужден кланяться. И его политические действия, как и его республиканизм, носят также

чисто-личный характер. Свое решающее политическое дело, после которого вся революция терпит крушение и старый Дария делается снова повелителем Генуи,—убийство Фиеско,—он предпринимает на свой страх и риск, не советуясь с товарищами. Это уже не республиканизм, а анархизм, и самый крайний анархизм. Ибо даже анархисты в своей пропаганде действием принимают во внимание решения и намерения товарищей.

Других мотивов политических действий, кроме личных, Шиллер тогда совсем еще не понимал. Он это сам высказывает в предисловии к „Фиеско".

„Если правда, что только чувство вызывает в свою очередь чувство, то, мне кажется, нужно признать, что политический герой не может быть героем драмы постольку, поскольку человек должен в нем отойти на задний план для того, чтобы он мог стать политическим героем. Я не мог поэтому вдохнуть в мой вымысел тот живой огонь, который царит в произведениях, порожденных только воодушевлением. Но я мог сделать источником этих холодных, бесплодных государственных дел человеческое сердце и таким образом опять восстановить связь с человеческим сердцем; я мог опутать сердце мужчины политическим благоразумием государственного человека и позаимствовать у сложной интриги положения, в которых проявляется общечеловеческое. Моя связь с мещанским миром дала мне возможность познакомиться больше с человеческим сердцем, чем с кабинетной политикой, и, может-быть, именно эта слабость в политике превратилась в силу поэта".

Тут перед нами все политическое убожество Германии накануне великой революции. Политика превратилась в кабинетную политику, с „холодными, бесплодными государственными делами" которой „мещанский мир" не имел ничего общего. Люди, среди которых человек случайно вращается, очень часто начинают ему казаться образцом человечности; отчужденность „мещанского мира" от политики превратилась поэтому в глазах Шиллера в различие „политического героя" от „человека." Политика кажется ему чем-то нечеловеческим; человеческими добродетелями и мотивами он считает только те, которые ложатся в основу действий неполитического „мещанского мира." Если драматург хочет сделать для публики „политического героя" „человечнее, ближе", возбудить к нему ее симпатии, он должен к его политическим мотивам примешать мотивы мещанской повседневной жизни, мотивы, носящие чисто-личный характер.

И Шиллер не замечает, что именно политика, к которой таким образом примешивается „человеческое сердце"—личные симпатии и антипатии, личные страсти,—представляет собою низшую форму политики, что как раз такое влияние человеческого сердца превращает

политику „кабинетов“ в чисто-личную политику, низводящую государство до роли государевой вотчины, и превращает „государственные дела“ в „бесплодные дела“. С тех пор германский народ стал жить очень интенсивною политическою жизнью. Но отличающее Шиллера отсутствие всякого понимания движущих сил политики продолжает еще жить у некоторых современных беллетристов. Далекие от того, чтобы понимать, что политика, проистекающая из заботы об интересах целого, представляет собою цвет человеческой деятельности, они все еще продолжают смотреть на политику, как на деятельность, от которой портится характер; их пониманию доступны только те политические мотивы, которые носят чисто-личный характер, мотивы, которые не поднимаются выше уровня жизни, чувства, не занимающегося политикой филистера, или представляют собою, в лучшем случае, ее идеализированные формы.

Нужно, к сожалению, признать, что политическое понимание Шиллера не росло так быстро, как его поэтический талант. Правда, бунтовщиком остался он еще долго. Насквозь проникнута духом протеста следовавшая за заговором „Фиеско“ драма „Коварство и любовь“,—на ряду с „Валленштейном“ одна из величайших его драм, написанная с подавляющей силой. Однако мы здесь занимаемся не теми его драмами, содержание которых как бы подстрекает нас к восстанию, а только теми, в которых эти восстания действительно происходят. До этого не доходит в „Коварстве и любви“, а только в следующей за ней драме „Дон-Карлосе“, оконченной в 1787 году. По сравнению с „Фиеско“ эта драма является шагом вперед в политическом отношении, поскольку в ней политика уже не рассматривается больше, как „холодные, бесплодные государственные дела“; Шиллер уже чувствует, что на ряду с подобного рода политикой возможна еще другая, способная дать счастье народам. Однако и в эту политику довольно двусмысленно вмешивается „человеческое сердце“. Трудно отказаться от мысли, что мятежный наследный принц проявил бы гораздо менее мятежности, если бы его отец не сцапал у него невесты, Елизаветы Валуа, которая поразительно либеральна для французской принцессы. Карлос восклицает: „Так, решено: я Францию спасаю! Она желает—и с меня довольно!“

Если бы Карлос женился на своей Елизавете, и если бы последняя, как подобает королеве, придерживалась реакционных взглядов, то мы вряд ли имели бы тогда конфликт друга Позы с инквизицией.

Но сама та политика, которая должна была осчастливить народы, вовсе не была политикой народного законодательства и народного самоуправления. Свобода должна быть дана народу сверху монархом, успех восстания фламандских провинций ставится в зависимость от решения наследного принца. Поза обращается к нему:

„Посланник человечества всего—
Пред вами я колена преклоняю.
То фландрские провинции, мой принц,
На вашу грудь свои приносят слезы
И все зовут на дело избавленья...
На внуке Карла Пятого почиет
Всех этих стран последняя надежда.
Они погибли, если ваше сердце
За человечество отвыкло биться".

Это та фата-моргана, которая вот уже сто лет манит к себе немецкий либерализм,—либеральный принц, выступающий против реакционного отца; здесь этот либеральный наследный принц является центральным пунктом драмы, убежищем революции.

Шиллер, разумеется, знал очень хорошо, что Нидерланды в действительности не нуждались в либеральном принце для того, чтобы освободиться. Но он никак не мог обойтись без либерального принца.

Так, показав в своей „Истории нидерландского восстания", как Филипп прямо-таки заставил своих верноподданных прибегнуть к восстанию, он затем продолжает: „Еще недостает руки, которая придаст ему окончательную отделку—просвещенного и предприимчивого ума, который овладеет этим великим политическим моментом и превратит *порождение случая в план, порожденный мудростью*. Вильгельм Молчаливый, подобно Бруту, посвящает себя великому делу свободы". И он показывает затем, что восставшие не в малой мере были обязаны своими успехами тому обстоятельству, что наместники Филиппа быстро сменяли друг друга и вместе с ними „менялись режим и план кампании, между тем как *план восстания*, не меняясь, оставался *живым и ясным* в *единственной голове*, которая создала его": разумей — в голове Вильгельма Оранского.

Таким образом не только в высоком полете драмы, но и в трезвом изображении истории народное восстание кажется Шиллеру „порождением случая", которое только в голове принца превращается в планомерное действие и, вместе с тем, в жизнеспособное восстание. Принц Вильгельм Оранский является здесь таким же „ангелом спасителем" восстания, каким маркиз Поза хочет сделать испанского наследного принца.

Для освобождения и счастья народов нужна только добрая воля их повелителей, которые могут им подарить свыше без всякого труда все, в чем они нуждаются.

Свободолюбивый Поза восклицает:

„Пером черкнуть вам стоит—и земля обновлена".

Он и не помышляет о том, чтобы освободить народ посредством народа же:

„Смешная эта страсть нововведений,
Которая, цепей не разбивая,
Их тяжесть только умножает, мне
Не распаляет крови. Век тщедушный
Не созрел для моих прекрасных идеалов:
Я гражданин грядущих поколений".

А в чем состоит идеал этих грядущих поколений?

„Филиппа век сменят века другие,
Родится мудрость кроткая—и *счастье*
Граждан в согласьи с *троном* уживется".

И в заключении „странный мечтатель" заклинает испанского деспота:

„О, посвятите счастию народов
Ту царственную силу, что так долго
Пускала в рост лишь блеск один престола!
Восстановите право человека
Во всем его величьи. Гражданин
Пусть снова станет целию престола:
Пусть для него единым долгом будет
Его собратов честные права".

И еще раньше он взывает к нему:

„*О, дайте, государь,*
Свободу мысли!"

Как и раньше, идеалом Шиллера остается не демократическая, а чисто-личная, анархическая свобода,—не требование народного самоуправления, а право каждого делать то, что ему нравится; но дикая, не знающая удержу, насильственная деятельность разбойника Мора, считающего себя в праве самолично и на свой страх положить конец всякой неправде, перешла в „просветленное" благочестивое пожелание „представителя человечества", чтобы каждый мог свободно писать и говорить все, что ему угодно.

И эта мягкая, примиренная форма первоначально дикого анархизма соединилась с идеализированием монархии, которая по тщательном рассмотрении оказывается не чем иным, как просвещенным деспотизмом XVIII века, или, скорее, легендой о его немецком герое, Фридрихе II, которую немецкая буржуазия создала для своего назидания: ведь великий король объявил, что король—первый слуга государства, и издал распоряжение, чтобы „газеты не были стесняемы" и чтобы каждому было позволено спасаться, как он хочет.

Разве здесь не осуществилась уже мечта Позы о „грядущем веке кроткой мудрости", когда „престол народом будет дорожить", когда „счастье граждан в согласьи с троном уживется"?

Маркиз Поза только-что приезжает из насильственно захваченных фламандских провинций, где он видел „могучий, великий и, вместе с тем, добрый народ“, но ни одну минуту ему не приходит в голову мысль, что было бы прекрасно, если бы этот народ освободил себя своими собственными силами и управлялся по своей собственной воле. Нет: „и быть отцом такого народа—как божественно, как свято, невольно я подумал“.

Так мыслил Шиллер еще накануне великой французской революции. Но и колоссальный наглядный урок, данный этой последней, прошел для него даром, и вместо того, чтобы доставить ему более глубокое понимание сущности демократии и буржуазной революции, великое французское зрелище больше чем когда бы то ни было отдалило его от этого понимания.

II

Драмы Шиллера после революции

В мае 1789 года собрались во Франции Генеральные Штаты и засвидетельствовали перед всем миром, что великий народ намеревается свергнуть иго абсолютизма. В мае того же года Фридрих Шиллер сделался профессором в Иене и отказался от своей прежней свободы, чтобы подпасть под книжеское иго. Это великий поворот в жизни Шиллера; но мне кажется, что слишком переоценивается,— как это, например, делает Курт Эйснер в изданном партийным издательством шиллеровском мартовском номере,—влияние этого поворота—вступления в круг веймарцев—на образ мыслей Шиллера. Не нужно понимать слишком грубо-материалистично влияние, которое оказывают общественные условия на каждого человека; это влияние проявляется не только в „*приспособлении* к условиям общества, в котором приходится жить“.

Влияние окружающей среды может сказаться не только в *приспособлении* к условиям общества, в котором приходится жить, но и в *борьбе* против этих условий. И в особенности не нужно полагать, что зрелый, обладающий сильным характером человек будет менять свои убеждения только по той чисто-внешней причине, что борьба за существование заставила его попасть в такое общество, которое расходится с теми убеждениями, которых он придерживался до тех пор.

Принимая во внимание честность, стойкость убеждений и страстность, которые отличали Шиллера, можно скорее полагать, что он восстал бы против взглядов, господствующих в веймарском кружке, как он раньше восстал против дисциплины штутгартской школы

герцога Карла, если бы эти взгляды стесняли его свободу и были несовместимы с его убеждениями.

Условия личной жизни, в которых приходится жить человеку, оказывают громадное влияние на весь строй его чувствования и мышления, на его миропонимание, на его политические и философские убеждения до тех пор, пока еще не завершился процесс его духовного развития и каждое испытанное им впечатление его глубоко волнует. Но у каждого человека с мало-мальски сильным и глубоким характером влияние условий личной жизни на убеждения, до которых он доработался, все больше и больше отступает на задний план по мере того, как он становится более зрелым и устойчивым. Лишь мелкие и слабохарактерные люди меняют свои убеждения в зрелом возрасте под одним только влиянием изменившихся личных обстоятельств. Но самый сильный характер не может противостоять влиянию тех перемен во всей общественной атмосфере, вызываемых великими историческими событиями. Таким событием было не принятие Шиллером иенской профессуры, а другое событие, имевшее место в мае 1789 года—падение феодального абсолютизма во Франции.

Перемену, происшедшую в Шиллере, нужно приписать этому всемирно-историческому событию, а не изменившемуся источнику его доходов. Можно в крайнем случае утверждать, что эта перемена в условиях личной жизни усилила влияние этого исторического события, так как оба действовали в одном и том же направлении.

Итак, тот же шиворот, да на выворот. Не потому он перестал симпатизировать французской революции, что он вопреки своим убеждениям приспособился к окружающей его среде,—скорее наоборот. Благодаря тому, что французская революция была ему несимпатична, и на почве всегда отличавшего его непонимания демократии, он проникся тем настроением, которое сделало для него возможным свыкнуться с господствовавшим в Веймаре тоном. Шиллер, как характер, слишком велик, чтобы мы имели право предполагать, что развитие его шло противоположным путем.

Французская революция показалась не осуществлением, а крушением революционного идеала не только Шиллеру, но и многим его современникам. От свободы, как бы они ни понимали это слово, они ожидали наступления нового царства радости и мира, царства братства и примирения. Шиллер, так же, как и все другие буржуазные идеалисты, жившие до революции, не имел ни малейшего предчувствия противоречий и классовой борьбы, которые скрывал в своих недрах нарождающийся буржуазный мир, и он, как и другие идеалисты, отвернулся с ужасом от революции и увидел в ней смерть всех своих идеалов, когда она привела к самым ожесточенным войнам и междоусобиям.

Борющимся и освобожденным классам в самой Франции, в особенности крупной ее буржуазии, ее мелкой буржуазии, ее крестьянству, революция доставила слишком много ощутительных выгод, чтобы их могло оттолкнуть от нее несоответствие между действительностью и идеалом, о котором они мечтали. Иное дело немецкие идеологи; у них политические идеалы буржуазии оставались пока бестелесным отражением того брожения, которое совершалось за границей, продуктом неопределенных личных чувствований, а не определенных потребностей готового к борьбе и общественно-необходимого класса. Они видели в ней только крушение своих иллюзий, ничего не поняли из всего того, что она в действительности выполнила. Они продолжали испытывать потребность противопоставить неудовлетворявшему их миру действительности идеальный образ более прекрасного мира; но теперь они его искали не в будущем, а в прошлом, в средних веках, и они окружили эти средние века таким же лучезарным сиянием, каким они прежде окружали жданное царство грядущей свободы. Как раз у самых пылких натур романтика заняла место бурных революционных стремлений былых времен, и некоторые из последних произведений Шиллера уже заражены романтическим мистицизмом, как, например, обнаруживающая католические тенденции „Мария Стюарт“ (1800 г.), „Орлеанская дева“ (1801 г.) и „Мессинская невеста“ (1803 г.).

Но интерес к восстанию еще раз и еще раз овладевает Шиллером; этим интересом порождены две большие драмы и отрывок третьей драмы: „Валленштейн“ (1799 г.), „Вильгельм Телль“ (1804 г.) и „Дмитрий Самозванец“.

Если бы мы не знали, что Шиллер задумал своего „Валленштейна“ еще в 1792 году, мы бы могли подумать, что его навел на мысль написать эту драму Наполеон. Последняя часть трилогии—„Смерть Валленштейна“—была представлена 20-го апреля 1799 года, а государственный переворот 18-го брюмера был совершен в ноябре того же года. Шиллер представил на сцене то, что через несколько месяцев произошло в самой жизни,—правда, с той разницей, что в жизни действия героя 18-го брюмера увенчались большим успехом, — подготовления к государственному перевороту счастливого полководца, армия которого, благодаря длинному периоду войн, сделалась решающим политическим фактором.

Подобно „Коварству и любви“, и Валленштейновская трилогия отражает в себе свое время. И та и другая драма так реалистичны, как это только возможно для Шиллера. Оба произведения являются наиболее значительным из всего написанного Шиллером. „Коварство и любовь“ является страстным обвинительным актом: обвинением против старого порядка, против хозяйничанья князей, любовниц и чиновников; „Валленштейн“ является, хотя не таким страст-

ным, но настойчивым и полным силы обвинительным актом против ужасов войны и солдатского режима, от которых Европа страдала с тех пор, как кончилась революция. Восстание, как и повстанцы, изображаемые им в этой драме, уже не пользуются его симпатиями. С свободой у них нет ничего общего. То же самое можно сказать и о восстании Лжедмитрия. И это восстание, как и восстание Валленштейна, служит только личным целям. Там же, где в этом отрывке говорится о народе, он далеко не является предметом похвалы. В этом произведении Шиллера мы находим знаменитые слова, которые реакционеры с тех пор так охотно и так часто эксплуатировали: „Большинство?! Что такое большинство? Большинство — это бессмыслица. Разумом обладают лишь немногие. Может ли заботиться о благе общества тот, кто ничем не обладает? Свободны ли нищие, есть ли для них выбор? Они вынуждены продать свой голос за хлеб и обувь тому ботачу, кто покупает. Голоса должны взвешиваться, а не считаться. То государство рано или поздно погибнет, где большинство побеждает и неразумие правит".

Не следует, однако, забывать, что эта мудрость, как мы это видели раньше, была высказана уже в заговоре „Фиеско". Но каким образом можно примирить с духом, господствовавшим во всех этих последних произведениях Шиллера, появление „Вильгельма Телля", этой песни песен самоосвобождения народа и истребления тиранов?

И это было бы на самом деле совершенно необъяснимо, если бы мы предположили, что на Шиллера повлияла придворная среда, которая сделала ему ненавистным всякое стремление к свободе. И, наоборот, это делается совершенно понятным, если мы объясним перемену, происшедшую в Шиллере, влиянием французской революции.

В его душе еще жили, как и раньше, любовь к свободе и ненависть к тиранниии. Революция по французскому образцу, правда, казалась ему ложным и пагубным путем; но тем сильнее он должен был почувствовать потребность противопоставить дурной, отвратительной революции—революцию, каковой она должна быть.

Шиллер сам жил в эпоху такой революции; это была война за независимость Соединенных Штатов. Но почему эта революция вызывала такие симпатии у всей европейской публики? Потому, что она не была классовой, а национальной революцией; потому, что она вытекала не из стремлений создать новый общественный порядок, экспроприировать класс эксплуататоров, а вытекала из стремления свергнуть с себя тяжелое иго *чужеземного* господства. Война за независимость ничего не изменяла в общественных отношениях страны. Она создала почетное положение для звучного слова „свобода", она явилась поводом для первой декларации прав человека.

Но те, которые написали эту декларацию прав человека, признавали в качестве необходимого учреждения невольничество, и часть из них сама была рабовладельческой. Это была „прекрасная“ свобода.

Революция эта совпала с молодыми годами Шиллера, когда он писал „Разбойников“ и заговор „Фиеско“, и ее отголоски еще ясно слышны в „Коварстве и любви“. Такой же характер носила та революция, которая была в то время предметом его изучения, — Нидерландская революция. Она также не была классовой; в этой революции также все классы общества дружно боролись против чужеземных угнетателей, против испанцев. Это была борьба за „свободу“, которая отнюдь не казалась опасной европейским монархам. Державы, враждебные Испании, оказывали поддержку восставшим Нидерландам; и точно также державы, враждебные Англии, оказывали поддержку восставшим американцам. Одним из государей, помогавших американцам, был Людовик XVI, который ровно десять лет после того, как американская революция победила благодаря его помощи (Версальский мир 1783 г.), был возведен революцией, восторжествовавшей в его собственной стране, на эшафот (21-го января 1793 года). Такая революция может двинуть вперед дело свободы, но это далеко не необходимо всегда происходит. Через несколько лет после смерти Шиллера Германия пережила подобную революцию в так называемой освободительной войне, но эта война послужила средством уничтожить те крохи свободы, которые дало „чужеземное господство“ корсиканца. Это была революция, в которой государи принимали очень деятельное участие.

К подобного рода революциям принадлежало также восстание лесных кантонов против управления Габсбургов. Как и Меринг (собрание сочинений Маркса и Энгельса от 1841 до 1850 года, том 2-й, стр. 382), я не могу согласиться без оговорок с тем, что писал Энгельс в 1847 году: „Борьба лесных швейцарских кантонов против Австрии, прославленная клятва на Рютли, геройский выстрел Телля, вечно достопамятная победа при Маргартене,—все это борьба беспокойных пастухов против натиска исторического развития, борьба упорных, застойных местных интересов против интересов всей нации, борьба дикости против образованности, варварства против цивилизации. Они победили в своей борьбе против цивилизации, но в наказание за эту победу они были устранены от участия в последующих успехах всей цивилизации“ (там же, стр. 448).

Что касается до цивилизаторской миссии, которую Габсбурги выполняли в XIV столетии в Швейцарии, то тут, в лучшем случае, нужно поставить вопросительный знак. Но, во всяком случае, верно, что сохранение свободы кантонов было в высшей степени консервативным, а отнюдь не революционным событием, и что впоследствии

свобода этих кантонов послужила средством сохранения очага самой мрачной реакции в центре Европы. Это лесные кантоны разбили в 1531 году в битве при Каппеле Цвингли с его войском и поставили, таким образом, барьер распространению протестантизма в Швейцарии. Это они доставляли войско каждому европейскому деспоту; швейцарцы из лесных кантонов были самыми верными защитниками Людовика XVI против революции, за что республика им поставила в Люцерне знаменитый памятник Nota bene. Достойно замечания, что молодой Шиллер уже относился с некоторою гордостью в своем заговоре „Фиеско“ к „верности, готовой к услугам тех, кто больше даст“ (выражение Энгельса относительно швейцарцев), немецких наемных солдат. Он влагает в уста заговорщика Калканьо следующие слова: „Эти немецкие медведи! Стали перед этим стариком (Дориа), твердые, как скала. Если они так поступают по отношению к чужим тиранам, то, чорт их побери, как же они охраняют своих собственных государей“. Статья Энгельса, направленная против лесных кантонов, была вызвана „Зондербундом“, который основали в 1843 году лесные кантоны в союзе с другими ультрамонтанскими кантонами для защиты иезуитского режима; основание этого „Зондербунда“ привело к открытой междоусобной войне, к войне из-за „Зондербунда“, которую входящие в его состав кантоны вели против Швейцарского союза.

Консервативный характер восстания лесных кантонов не остался незамеченным для Шиллера; наоборот, он его ясно подчеркивает. Он заставляет заговорщиков, собравшихся на Рютли, следующим образом излагать свои цели:

Вальтер Фюрст: Мы наше иго сбросить лишь хотим
И сохранить старинные права,
Которые нам предки завещали.
Но новых прав искать мы не должны:
Монаршее монарху пусть воздастся.
Кто здесь из вас имеет господина?
Мейер: От Австрии арендой я владею.
Вальтер Фюрст: Так продолжай платить ей, что обязан.
Иост Вейлер: Я Рапперсвейлю подати плачу.
Вальтер Фюрст: Так продолжай платить их, как и прежде.
Рессельман: Я Цюрихской обители присяжный.
Вальтер Фюрст: Церковное ты церкови отдай.

Одним словом, все остается по-старому: никакие основанные на эксплуатации и рабстве отношения ни малейше не затрагиваются; „свобода“ не должна их коснуться, ибо только в таком случае революция останется прекрасной и достойной уважения. Помещики, крестьяне, батраки, все единодушно работают над одним и тем же делом; вместо того, чтобы вызвать друг друга на классовую борьбу, они трогательно обнимаются после того, как они изгнали чужеземных тиранов.

Характерно так же для политического образа мыслей Шиллера то обстоятельство, что ни один из борцов за свободу не восстает против тиранов, побуждаемый политическими своими убеждениями или какими-нибудь другими не личными мотивами. Сорокапятилетний Шиллер, как и двадцатитрехлетний, все еще только таким образом умеет „сделать источником государственных дел человеческое сердце". Яснее всего это выступает по отношению к герою, к самому Вильгельму Теллю. Когда от него требуют, чтобы он примкнул к восстанию, он сначала отвечает, что

„Единственное ныне дело—терпенье и молчанье",

затем:

„Надейся каждый сам лишь на себя",

и наконец:

„Но сильный лишь один всегда могуч".

И, говоря так, он не руководится соображениями грубого эгоизма. Мы видим, как он, рискуя собственной жизнью, спасает Баумгартена. И он вполне прав, когда с особенной силой произносит следующие слова:

„Ягненка Телль из пропасти спасает,
Ужель оставит он своих друзей?"

Однако, к этим словам он сейчас прибавляет:

„Но на совет меня вы не зовите".

Итак, он готов оказать другу в меру своих сил личную помощь, но не требуйте от великого мужа свободы, чтобы он ломал себе голову над политикой. Его конфликт с ландфогтом также вызван не непокорностью или стремлением к политической свободе, а простой небрежностью человека, который так же мало обращает внимания на приказания начальства, как и на советы своих друзей. И его решающее дело, умерщвление тирана, проистекает также не из политического, а из чисто-личного мотива, из чувства самосохранения. Оно не находится ни в малейшей связи с решением собравшихся на Рютли бороться за свободу. Это считается слабой стороной драмы с эстетической точки зрения, но этот недостаток является необходимым следствием отсутствия всякого понимания политических мотивов у Шиллера. Действие, вызванное только политическими мотивами, оставило бы как его, так и его публику более холодными, чем действие, вызванное личным чувством.

Каков Телль, таковы и остальные борцы за свободу. Баумгартен убивает Вельфентиссена за то, что тот оскорбил его жену; Мельхталь принимает участие в восстании потому, что ослепили его отца а Вернер Штауффахер потому, что ему угрожает ландфогт; и, наконец, Ульрих фон-Руденц проникнут верноподданническими чувствами до тех пор, пока он надеется, что этим он приобретет благорасно-

ложение своей возлюбленной Берты, и превращается в мгновение ока в пламенного республиканца, как только она ему дает понять, что на этом пути он скорее добьется у нее успеха. Несомненно, это производит гораздо более сильное впечатление, чем действия, проистекающие из установившихся убеждений; странно, однако, что идеалист Шиллер не вывел на сцену ни одного борца за свободу, который бы любил демократию ради нее самой.

Наши идеалисты часто упрекают материалистическое понимание истории, исповедуемое марксистами, что оно совершенно не признает в истории других, кроме личных, мотивов. Это, разумеется, бессмыслица, доказывающая только, что эти господа понятия не имеют о том, чему действительно учил Маркс. Но они найдут применение того исторического понимания, против которого они с таким возмущением спорят, в идеальнейших драмах Шиллера, этого великого идеалиста-кантианца; к такого рода применению приводит Шиллера его стремление вывести политические действия из „человеческого сердца".

Если, вопреки всему этому, „Телль" все-таки считается величественным апофеозом революции и всех революционных идеалов, то он этим обязан страстной силе языка, которая в этом произведении, как и во всех других произведениях Шиллера, затушевывает все слабости и сообщает самым что ни на есть филистерским общим местам мощную силу титанического восстания против основ всего существующего. Но и помимо этого „Телль", как и другие произведения Шиллера, отчасти обязан своим политическим влиянием неясному понятию свободы в этой драме, позволяющему каждому революционеру толковать эту свободу по-своему.

III

Причины политической отсталости Германии

Мы видели, что в душе Шиллера всегда жила революционная страсть, стремление вырваться из пределов существующего порядка, и что вся атмосфера того времени роднила это стремление, несмотря на его расплывчатость, с либерализмом, составлявшим содержание революции того времени, а в некоторых отношениях и с анархизмом, который и теперь играет революционную роль. Но мы видим также дальше, что Шиллер проявил смелость мышления и мятежнический дух протеста, которые заставляли его при выборе тем для своих драм останавливаться с особенной любовью на мятежах. И мы видели дальше, что, несмотря на все это, он не понял буржуазной революции, совершившейся в действительности. Он не понял не только французскую революцию, кровавая борьба которой могла легко оттолкнуть всякого наблюдателя, интересы которого не были непосредственно связаны с борющимися за свое освобождение классами, не понял он также и буржуазных революций прежних времен.

Он изображает всевозможные мятежи, борьбу разбойников против общества, аристократический заговор, конфликт либерального наследного принца со своим отцом, государственный переворот, произведенный сильным генералом, восстание претендента, народное восстание крестьян против чужеземного угнетателя,—но он проходит без внимания мимо тех буржуазных революций, которые совершились, начиная с XVII столетия, до его времени. Даже восстание нидерландцев отражается в его драмах в придворной интриге.

Не говорите, что Шиллер был художником, а не политиком, и что мятежи, изображенные им, давали художнику более благодарный материал, чем революции буржуазии и мелкой буржуазии. Как раз то произведение, в котором он ближе всего подошел к атмосфере буржуазного возмущения против господства феодального абсолютизма, в котором он больше, чем где бы то ни было в других его произведениях, черпает из революционного содержания своего времени, как раз „Коварство и любовь“ представляет собою и с художественной точки зрения самое великолепное произведение Шиллера. Эта драма производит куда более сильное впечатление, чем какая бы то ни было из других его драм, в которых он одел носителей своих идей и конфликтов, порождаемых этими идеями, в костюмы прошлых времен. Произведенное же действие является в конце концов мерилом и эстетической ценности художественного произведения. Предположим, однако, что это влечение Шиллера ко всем другим формам мятежа, кроме буржуазно-демократических революций, было вызвано только художественными соображениями; если бы он действительно понимал условия буржуазной революции, то это могло и даже должно было бы как-нибудь сказаться в обработке его сюжетов. Но все, что он пишет, доказывает как раз противоположное. В этом есть нечто роковое: все снова и снова Шиллер брался за обработку политических тем, и все снова и снова проявлялось у него полное отсутствие политического понимания; Шиллера все снова и снова привлекало изображение мятежа, и в то же самое время он оставался слеп к величайшему, наиболее плодотворному мятежу, разыгравшемуся перед его глазами.

В чем, однако, причина этого своеобразного противоречия? Наше исследование оставалось бы неполным, если бы мы не ответили на этот вопрос. Не в том заключается наша задача, чтобы возвеличить или раскритиковать Шиллера; это очень легкое, но, вместе с тем, совершенно непроизводительное дело. Мы стремимся к выполнению той задачи, которую Спиноза так прекрасно выразил в следующем положении: „Я ревностно стремился к тому, чтобы не осмеивать и не оплакивать человеческие поступки, а также не презирать их, а только понимать их“. Еще недавно мы опять встретили это положение в эпиграфе сочинения, трактующего о преступности (Бонже,

„Criminalité et conditions économiques“). Но это положение не менее применимо к исследованию искусства, чем к исследованию преступности. Понять великий ум—это лучший памятник, который мы можем ему воздвигнуть, это лучшее, что мы можем взять у него. Но, отыскивая причины, вызвавшие те противоречия, о которых мы говорили выше, мы прежде всего находим, что эти противоречия, по крайней мере сколько мне известно, не бросались в глаза современникам Шиллера. Из этого ясно следует, что причину этих противоречий следует искать не в личном своеобразии поэта, а в общих отношениях его времени, влиявших не только на него, но и на его публику. И в общем эти отношения уже были намечены раньше.

Они являлись следствием экономической отсталости Германия; ее капиталистическое развитие внутри страны и ее сношения с ушедшими дальше по пути экономического развития соседними странами сделали достаточно большие шаги для того, чтобы заставить своих мыслителей смутно чувствовать задачи и потребности нового буржуазного общества и предугадать, вместе с тем, и направление, в котором приходится искать решения этих задач и удовлетворения этих потребностей; но эти шаги были недостаточно велики для того, чтобы создать буржуазию, которая обладала бы достаточным запасом энергии и ума, чтобы возвысить борьбу за свои кастовые интересы на степень борьбы за новые общественные и государственные формы и вести затем эту борьбу энергично до тех пор, пока она не увенчается успехом.

Немецкие буржуазные мыслители XVIII века находились в таком же положении, в каком находились социалисты, жившие в первых десятилетиях XIX века. Они должны были черпать из глубины своего духа силы и средства, необходимые для решения новых общественных задач и удовлетворения новых общественных потребностей, так как в окружающей их среде они этих сил и средств найти не могли; они были вынуждены создать недостающие силы и средства силой своей фантазии, и это давало им возможность преодолеть все ограничения, налагаемые условиями места и времени; но так как их взоры были вперены в облака, то они спотыкались на каждом шагу, который они решались делать на почве действительности. В таких условиях зародился политический идеализм каких-нибудь Шиллера или Канта; и этот буржуазный утопизм родствен социалистическому утопизму какого-нибудь Фурье или Овена с той, однако, разницей, что последние, как французы и англичане, все-таки чувствовали под собою прочное экономическое и политическое основание, которого совсем не было у немецких идеалистов эпохи великой революции. И те социалисты, которые не додумались до материалистического обоснования социализма и застряли на его утопической стадии, до сих пор полагают, что социализм родствен идеализму Шиллера и Канта.

Особенности немецкого идеализма XVIII века сделаются нам, однако, еще понятнее, если мы проследим дальше различия, существовавшие между Германией, с одной стороны, и Францией и Англией, с другой стороны. И прежде всего мы встретимся с одним различием, которого нельзя объяснить одной только экономической отсталостью Германии, но которое значительно усилилось вследствие этой отсталости: *в Германии не было такого большого города, как Париж или Лондон.*

Эти два города были первостепенными по своей величине городами уже в то время, когда Франция и Англия стояли на еще низшей ступени экономического развития, чем Германия в конце XVIII века. Париж насчитывал уже в 1700 году 500.000 жителей, а число жителей в Лондоне считается даже несколько выше (530.000) уже в 1585 году. Из больших же городов Германии Вена насчитывала в 1754 году только 157.000 жителей, а Берлин насчитывал в 1755 году 126.000 жителей; оба эти города, однако, играли очень незначительную роль в культурной жизни Германии. В тех же частях Германии, которые можно считать центрами ее культуры, не было и таких больших городов: самый большой город, Гамбург, еще в 1786 году насчитывал, вместе с принадлежавшим ему седьмым округом, только 120.000 жителей; другие города были еще меньше: в Кельне и Франкфурте было только по 40.000 жителей, в Лейпциге, в этом „маленьком Париже“, было еще в 1801 году только 32.000 жителей, а Штутгарт насчитывал в 1795 году всего-навсего 19.000 жителей, в Веймаре же не было, вероятно, и половины этого числа. Еще в 1871 году в нем было только 16.000 жителей.

Париж и Лондон были первостепенными, не имевшими себе равных во всей Европе, городами; один только Амстердам, насчитывавший в начале XVIII века 300.000 жителей, мог, до некоторой степени, подойти к ним по своей величине, а также по той роли, которую он играл. Но не только в остальной Европе, а и в своих собственных странах они не находили ни одного города, который бы мог, хотя в некоторой степени, пойти в сравнение с ними. В Англии, например, два самых больших города после Лондона, Бристоль и Норвич, насчитывали каждый по 29.000 жителей. Второй по своей величине после столицы город был, таким образом, в 17 раз меньше столицы! Уже это одно должно было повести к необычайному усилению ее значения для всей остальной страны. Прибавьте к этому необычайную концентрацию сил в этих столицах, между тем как деревня и провинциальные города не только располагали очень маленькими силами, но еще, кроме того, не были в состоянии, благодаря слабому развитию путей сообщения, быстро стянуть и использовать их. В столице же эти силы скопились на очень тесном пространстве, и за одну ночь можно было привести в движение все эти силы.

Здесь находились, во-первых, силы *интеллигенции*. Столица привлекала их к себе, она создала для их работы рынок, который сделал литераторов и художников независимыми от богатых покровителей. Там могла развиться сильная оппозиционная литература, в особенности—газетная литература, в то время, как немецкие литераторы или умирали с голоду, или должны были жить на счет милостей более или менее значительного владетельного мецената.

К силам интеллигенции присоединялась сила *денег*. Богатейшие купцы страны, все крупные эксплуататоры дворянства, крестьянства, промышленного пролетариата и колоний скоплялись в столице. Они располагали такими большими средствами, что по сравнению с ними немецкие владетельные князья казались нищими.

И наконец—сила *оружия*. Ремесленники еще не были обезоружены, и расстояние между военной техникой правительственных войск и вооруженных горожан еще не было так громадно. Горожане были скоплены в столицах на очень тесном пространстве, и их силы могли быть быстро мобилизованы; с ними было, поэтому, не так-то легко справиться войску; подкрепление же из других мест получалось не очень-то быстро.

Таким образом обе столицы играли решающую роль в XVII и XVIII веках. Они внушали большое уважение своим государям, с которыми они не раз вели успешную борьбу. Вместе с тем, эти города были центрами крупных государств, и вопросы, которыми они интересовались и из-за которых они иногда сталкивались с государем, были важные вопросы национальной и интернациональной политики. Среди населения этих городов развился, поэтому, сравнительно большой политический интерес, политическое понимание, политическое влияние и, вместе с тем, сознание своей политической силы. Все это совершенно не могло развиться в провинциальных городах. Когда говорят о политических завоеваниях революционной буржуазии во Франции и Англии, то это относится, главным образом, к буржуазии Парижа и Лондона. Несмотря на свое экономическое развитие, обе эти страны не дали бы такой революционной и политически развитой буржуазии, какую они в действительности дали, если бы они не обладали этими двумя столицами. С тех пор крупные столицы много потеряли в своем политическом значении, и их руководящая роль стала куда меньше. Для освободительной борьбы пролетариата они имеют гораздо меньшее значение, чем для освободительной борьбы буржуазии. Но буржуазной революции нельзя понять, не зная истории Парижа и Лондона.

В Германии не было крупного центра, не было, поэтому, того политического оживления, которое исходит от такого центра. Политическое развитие Германии тормозилось не только потому, что в ней были только маленькие города, но еще и потому, что она распада-

лась на мелкие государства,—два фактора, взаимно обусловливавших и усиливавших друг друга. Жизнь самых дворов, за исключением берлинского и венского, т.-е. дворов тех городов, которые имели очень малое значение для немецкой культуры, становилась все более и более мелочной, эгоистичной, лишенной всяких политических интересов по мере того, как росла независимость маленьких государств и исчезала имперская центральная власть. Развлечения играли большую роль при всех немецких дворах XVIII века, а при большинстве немецких дворов они сделались единственной целью жизни, и народ мог еще почитать себя сравнительно счастливым, если эта погоня за развлечениями находила себе удовлетворение в эстетической области, если центральным пунктом государства становился театр, а не казарма или охотничий парк, если честолюбие отца своих подданных заключалось в том, чтобы быть превосходным директором театра, а не в том, чтобы быть безупречным фельдфебелем, военным портным или охотником, если только актрисы и балерины, а не кавалерийские лошади разоряли народ. Ибо в первом случае иногда все-таки перепадали кое-какие крохи и на долю какого-нибудь поэта.

Обилие мелких государств и маленьких городов было причиной политического убожества Германии. Это убожество проявилось не только в отсутствии политической свободы, но и в том, что Германия не была в состоянии создать буржуазию, обладающую политическим смыслом и политической самостоятельностью. Огненная натура Шиллера нашла в себе достаточно силы, чтобы восстать против отсутствия свободы; но она была побеждена господствовавшей атмосферой провинциального филистерства. И вместо того, чтобы бросать ему за это упрек, мы должны еще удивляться той победоносной силе, с которой он мог в безотрадной политической среде проявить и отстоять в течение такого долгого времени свои мятежные стремления.

Научить борющиеся за свое возвышение классы политическому пониманию и политической самостоятельности смог—насколько это вообще доступно поэту и насколько это входит в его задачу—только поэт последующего поколения, но этот поэт был не драматургом, а лириком—это был *Генрих Гейне*, родившийся за несколько лет до смерти Шиллера. Но и Гейне вряд ли сумел бы понять и решить свою политическую задачу, если бы он остался в Германии. Париж дал ему нужные для этого силы и разумение. До 1848 года революционная немецкая буржуазия получала революционные импульсы, идеи и цели из французской столицы, и иначе не могло быть, ибо Германия не имела собственной столицы. Но во времена Шиллера мост между революционной Германией и Парижем еще не был перекинут.

Нашему политическому *мышлению* Шиллер может дать очень

мало. Но для выработки политического *характера* его влияние неоценимо. Поэтому он, как политик, будет поэтом подрастающей молодежи, в возрасте которой имеет гораздо большее значение выработка политического *характера*, а не политического *разума*, воспитание *чувства* более, чем изощрение способности к *анализу*; и задача состоит в том, чтобы развить в ней способность воодушевляться великими целями и не дать ей заразиться ранней декадентской мудростью и эгоистической осторожностью. Но он останется также, благодаря своему революционному темпераменту, поэтом всякого революционно борющегося за свое возвышение класса; спустя столетие после своей смерти он еще действует на них возбуждающе, и это происходит как раз благодаря неопределенности его революционного идеала, ибо эта неопределенность позволяет им толковать его идеал свободы в смысле их целей, совершенно отличающихся от целей его эпохи, и почерпать таким образом из высокого полета, независимости и смелости его духа доверие к своим силам и радостную надежду на победу.

Таким образом Шиллер сделался поэтом немецкого рабочего класса, и нет до сих пор другого драматурга, который мог бы превзойти и вытеснить его из их сердец. Как раз пролетариат имеет право чествовать его, ибо это право принадлежит юности и юным классам, воодушевленным высокими целями, а не дряхлым классам, для которых политический идеал является только воспоминанием о давно прошедших временах.

Шиллер и великие социалисты

Во время последних Шиллеровских дней у меня как-то невольно явился вопрос: какое влияние имел Шиллер на Маркса, Энгельса и Лассаля, и мне захотелось заняться его исследованием. Мы знаем, что как Маркс, так и Энгельс упоминали о Шиллере лишь изредка и мимоходом, да и Лассаль не особенно часто говорил о нем.

Разница заключается только в том, что в беглых отзывах Лассаля о Шиллере чувствуется живая симпатия к нему, тогда как у Маркса и Энгельса мы видим нечто совершенно противоположное.

В этом кроется глубокий смысл, имеющий известный исторический интерес.

Сказать, что они относились отрицательно к Шиллеру потому только, что он был идеалистом, значило бы говорить не об его собственном идеализме, а о том искаженном и изуродованном идеализме, который был ему навязан его буржуазными толкователями.

Фихте и Гегель тоже были идеалистами, и притом в самом строгом значении этого слова, однако Маркс и Энгельс всегда отзывались о них с величайшим уважением и охотно называли себя их учениками.

Бывает различный идеализм. Нередко он представляет собой совершенно различные, а иногда и прямо противоположные воззрения.

Таким именно образом и отличается идеализм Шиллера от идеализма Фихте.

Эту разницу своих мировоззрений оба идеалиста сами видели и понимали яснее, чем кто-либо другой.

Во время совместной жизни их в Иене, в последнем десятилетии XVIII века, Шиллер писал к Фихте следующее: „Если бы мы расходились только принципиально, я все-таки надеялся бы, что наша обоюдная любовь к истине и правильное понимание вещей поможет, в конце концов, одному склонить на свою сторону другого, но мы совершенно различно чувствуем, мы—в высшей степени различные натуры, а с этим ничего не поделаешь".

Еще более резко отзывается Шиллер о Фихте в своих письмах к Гёте.

Он называет его неиссякаемым источником всяких нелепостей и открыто смеется над ним, как над человеком, старающимся усовершенствовать вселенную.

Здесь-то мы и подходим к решающему моменту. Эстетически-философский идеализм Шиллера заключался в удалении от жалкой действительности в мир искусства. Фихте же не признавал подобного отречения от земли. Наоборот, он проповедывал необходимость улучшения и устроения жизни, он мечтал заменить ее убожество жизнью светлой, свободной и вполне достойной человека *).

Таким образом его исторически-философский идеализм в высокой степени отличается от идеализма Шиллера и даже диаметрально противоположен ему.

Вполне понятно, что идеализм Шиллера, хотя и в извращенном виде, пришелся по сердцу немецкому филистеру и неизбежно должен был сделаться его идеалом, так как ему во что бы то ни стало хотелось сохранить свой блаженный покой.

Но Фихте и Гегель, подобно призывным журавлям, неустанно носились над головами немецкого бюргерства, постоянно напоминая о другом идеале, пока нашли достойных выразителей и гениальных преобразователей своего идеализма в лице Маркса и Энгельса.

Теперь нам становится понятным, почему Маркс сказал однажды, что бегство Шиллера от жизни к идеалу есть только замена обыкновенной нищеты нищетой неизмеримой. Понятны и слова Энгельса, сказавшего, что всякий немецкий филистер, нахватавшийся высоких слов из шиллеровских стихотворений, уже воображает себя обладающим достаточно ясным пониманием философского материализма.

Марксу и Энгельсу в периоде полного расцвета сил пришлось вести жестокую борьбу с тем нелепым чудовищем, какое сделало немецкое тупоумное бюргерство из шиллеровского идеализма.

Негодование их усиливалось еще тем, что разные пустые и ограниченные фельетонные бездарности, в роде Карла Грюна, сваливали в одну бесформенную кучу изуродованный идеализм Шиллера с искаженным идеализмом Фихте и Гегеля.

Их возмущала такая наглая бесцеремонность, так как они справедливо видели в ней серьезную угрозу для развития всего рабочего движения, и было бы только отрадно, если бы их гнев и негодование продолжали жить в рабочем движении настоящего времени.

В этом смысле, конечно, Шиллеру не поздоровилось от Маркса и Энгельса.

Они никогда не старались различить или разъяснить, что идеа-

*) За что Шиллер ругал его, между прочим, неэстетической натурой.

лизм в понимании Шиллера в его время не имел ничего общего с идеализмом тупоумных немецких бюргеров, состряпанным ими для своего времени, в период от 1815 до 1848 года, из стихотворных отрывков великого поэта. У них всегда являлось недоверие и подозрительность, как только немецкий бюргер начинал восторгаться Шиллером.

Даже преследование французов весной 1859 года представлялось им в более благоприятном свете, чем шиллеровские празднества осенью того же года. „Оно было действительно национальным,—писал Энгельс,—гораздо более национальным, чем шиллеровские празднества от Архангельска до Сан-Франциско. Оно возникло естественно, инстинктивно и непосредственно".

Это однако несправедливо. Из двух бюргерских движений 1859 года несомненно чествование Шиллера было движением наиболее естественным.

Лассаль подметил и правильно объяснил это движение, говоря, что только литература является действительно объединяющим элементом для народа.

В подтверждение своей мысли он приводит следующие слова Фихте: „В духовном единстве своей литературы наш народ видит доказательство своего собственного духовного единства и, вместе с тем, светлый залог нашего национального возрождения".

Лассаль тоже был учеником Фихте, не меньше Энгельса и Маркса, но к идеализму Шиллера он относился вполне беспристрастно.

Его не меньше их возмущало искажение этого идеализма, но он сумел отделить Шиллера от его буржуазных толкователей, тогда как Маркс и Энгельс в пылу борьбы совершенно упустили из виду это обстоятельство.

Карл Грюн в сороковых годах был гораздо опаснее, чем Юлиан Шмидт в пятидесятых. В своем памфлете против этих героев буржуазной истории литературы Лассаль дает прекрасную и чрезвычайно меткую характеристику шиллеровского идеализма. В том же памфлете он затрагивает другой очень интересный вопрос о размере полученного Шиллером образования. Часто приходилось слышать довольно-таки нелестные отзывы о шиллеровской эрудиции,—и не без основания: в ней было достаточно прорех.

Мы знаем, что в этом преступлении повинен герцог Вюртембергский, который на целых восемь лет запер мальчика Шиллера для обучения в Karlsschule.

Эти прорехи в своих знаниях Шиллер никогда впоследствии не мог уже заполнить, несмотря на самые усиленные занятия.

И все-таки было в высшей степени забавно, когда какой-то Юлиан Шмидт начал с высоты своего величия нести по поводу этого недостатка Шиллера такого рода галиматью: „Из бесконечно малого

запаса материала Шиллер приобрел довольно разностороннее миросозерцание, иногда поражавшее даже княгиню своей гениальной верностью. Отсюда его медленное развитие, но отсюда и твердая вера в силу духа, которому подвластна истина".

Лассаль, разбирая эту напыщенную чепуху, приходит однако к тому справедливому выводу, что творец „Валленштейна", „Тридцатилетней войны", переводчик Эврипида, знаток античной трагедии, которую он хотел возродить в своей „Мессинской невесте", основательный исследователь швейцарской истории, так мастерски изображенной в его „Вильгельме Телле", автор писем об эстетическом воспитании обладал вполне достойным уважения и широким запасом знаний, который только в некоторых отношениях мог бы быть поглубже. Но Лассаль не заметил, что Юлиан Шмидт *списал* свою бессмысленную болтовню еще в более бессмысленной форме с следующего заключения Вильгельма фон-Гумбольдта о Шиллере:

„Удивительно, как из небольшого запаса материала Шиллер выработал такое разностороннее миросозерцание, что при ознакомлении с ним поражаешься его гениальной верностью. Удивительно потому, что это миросозерцание его выработалось чисто-внутренним путем. Он даже Германию видел только отчасти, Швейцарии же не видел вовсе, а между тем в его „Вильгельме Телле" встречаются такие живые изображения ее!"

Надо сравнить эти слова Гумбольдта с тем, что сделал из них Шмидт, и потом ответить на вопрос: существовал ли когда-нибудь на свете такой безбожный пачкун, как храбрый Юлиан, и насколько правы сострадальные души, жалеющие еще и теперь эту невинную жертву злого Лассаля?

Пример этот характерен также для того, в каком виде идеализм Шиллера,—к наиболее глубоким знатокам которого принадлежал Вильгельм фон-Гумбольдт,—преподносился вниманию буржуазного мира. Его погружали в мутный поток пустого и нелепого словоизвержения, и в таком виде он имел в высшей степени отрицательное влияние на ход и развитие классовой борьбы в Германии.

Оставаясь верными великой задаче своей жизни, Маркс и Энгельс вынуждены были бороться с *таким* идеализмом.

Если при этом они поступили с Шиллером не совсем справедливо, то, даже с точки зрения самого Шиллера, легче было перенести такую несправедливость, чем духовное отравление народа разным нелепым вздором в духе Карла Грюна, который является поистине бессмертным в том смысле, что никогда не вымирает.

	Р.	К.
Зиновьев, Г. Война и кризис социализма	15	—
„ и Ленин, Н. Против течения. 1-е изд. разошлось. Вышло 2-е изд.	10	—
Ионов, Илья. Алое поле. Стихотворения (2-е изд.)	1	50
Карпинский, В. А. Мир или война	—	15
Каутский, К. Наука, жизнь и этика	—	30
„ К. Маркс и его историческое значение	8	—
„ Экономическое учение К. Маркса. 2-е изд.	3	50
„ Этика	2	25
„ На другой день после социал. революции	—	75
„ Классовые интересы	—	40
„ Карл Маркс. Биографический очерк	—	45
Кий. От крестьянской общины к социалистической коммуне	—	35
„ Сельская коммуна	—	40
„ Республика Советов. 4-е исправл. и дополненное изд.	—	40
„ Что такое социализм	1	10
Клюев, Н. Медный кит	2	40
Князев, В. Красное Евангелие	1	20
„ Красные звоны и песни	2	50
Коллонтай. Работница-мать	—	35
Конколь. Коммуна 71 г.	2	—
Конституция Советской Республики	2	—
Королькевич. Финансовые и экономические законы и мероприятия Германии против держав Согласия	—	35
Лазар, Б. Антисемитизм и революция	—	70
Ларин, Ю. Крестьяне и рабочие в русской революции	—	40
„ Состав пролетариата, 2-е изд.	—	65
Лассаль, Ф. Принципы труда в современном обществе	—	60
Лафарг, П. Вера в Бога	—	75
„ Происхождение религиозных верований	—	60
„ Благотворительность и право на труд	—	60
„ Миф о непорочном зачатии	—	35
„ Труд и капитал	7	50
„ Патриотизм буржуазии	1	10
„ Право на леность	1	10
Ленин, Н. Доклад и заключительная речь на 3-ем всероссийском съезде Советов	—	25
„ Главные задачи наших дней	—	65
„ Уроки революции	—	40
„ Борьба за хлеб	—	40
Либкнехт, В. 1848 год и Коммуна. Печатается 2-е изд.	2	—
„ Воспоминания о К. Марксе	1	80
„ Два мира	1	60
Лилина, З. Солдаты тыла. Женский труд до и после войны	2	10
„ Что дала революция народу	—	35
Литературный сборник, посвященный памяти Г. В. Плеханова	3	45
Логинов, И. На страже. Стихотворения. Сатиры	1	80
Лукин, Н. Церковь и государство	—	50
Луначарский, А. Комедии	5	20
„ и Зиновьев, Г. К. Маркс и социальн. революция	—	65
Лурье, М. (Ю. Ларин). Суд над Карлом Либкнехтом	—	45
Маркс, К. Либералы у власти	2	—

	Р.	К.
Маркс, К. Наемный труд и капитал	1	40
„ Заработная плата, цена и прибыль	—	85
„ и Энгельс, Ф. О коммунизме	1	40
Мархлевский. Что такое политическая экономия?	1	10
Мещеряков, Б. Деревенская беднота и путь к социализму	—	40
Мирбо. Жан и Маддена. Драма	1	50
Майская, Т. Полустанки. Драма	3	50
Олар. Политическая история Франц. револ.	24	—
Памяти К. Маркса. Сборник статей. 1-е издание разошлось. Вышло 2-е	4	50
Радек. Анархисты и Советская власть	—	12
Рионов. Как совершаются записи рождений, брака, развода, внебрачных детей и установление отцовства у народных нотар.	—	75
Ромэн Роллан. Жан Кристоф. Сердце Франции. Т. VII.	2	25
Рязанов, Д. Две правды (Марксизм и народничество)	—	90
„ Обуховское дело	—	70
„ 19-е февраля	—	75
„ К. Маркс и русские люди 40-х годов	1	80
„ Г. В. Плеханов и группа «Освобождение Труда»	—	90
„ Англо-русские отношения в оценке К. Маркса	3	75
Самойлова. Современная безработица и борьба с нею	1	10
„ Что дала крестьянам и рабочим Октябрьская революция	—	50
„ Продовольственный вопрос и Советская власть	—	90
Сборник инструкций, положений и правил по организ. сел.-хоз. коммун	—	20
Средницкий, С. Н. Основы газетного дела. Краткое руководство	2	30
Стеклов, Ю. Черная сотня во Франции	1	20
„ Революция 1848 г. во Франции	2	—
„ Прудон	—	80
„ П. Лафарг, 2-е изд.	—	55
„ Новейшее течение во французском антисемитизме	1	—
„ Интернационал, ч. I	4	80
„ Интернационал, ч. II	2	25
Степанов. Жан-Поль Марат	—	40
„ Кто богатеет и кто разоряется от войны	—	35
Троцкий. Труд, дисциплина и порядок	—	30
„ Слово к рабочим и крестьянам	—	45
„ Советская власть и международный империализм	—	25
Тун. История револ. движений в России	4	80
Тюрлан. Парижская Коммуна 1871 г. (печ. 2-е изд.)	2	—
Цена крови	—	45
Цеткин, К. За большевиков	—	40
„ Женский вопрос, интеллиг. пролетариат и социализм	—	75
Чиккотини, С. Б. Происхождение современной войны	—	20
Эйснер, К. В. Либкнехт, его жизнь и деятельность	1	30
Энгельс, Фр. Философия. Полит. экономия. Социализм. (Анти-Дюринг)	11	60
Ясинский, И. Воскресшие сны. Стихи.	12	—

Цена 25 руб.

Никем указанная на книге цена **не может быть повышена.**
Государственное Издательство.